



ВСЁ ВО МНЕ И Я ВО ВСЕМ

Жизнь и поэзия Федора Тютчева

Место Тютчева в истории русской поэзии немного противоречиво. Для массового читателя его имя все-таки и сейчас значит меньше, чем имена Лермонтова и Некрасова, не говоря уж о Пушкине. Но для людей, погруженных в культуру, его фигура выглядит титанической и уникальной. И это при том, что все наследие Тютчева — около четырехсот коротких стихотворений, а если отбросить малоудачную политическую лирику, стихи на случай и юношеские опыты, останется, пожалуй, не более двухсот текстов. Но эти две сотни стихотворений принадлежат к незыблемым вершинам искусства и человеческого духа.

Федор Иванович Тютчев прожил долгую для своего времени, но небогатую событиями жизнь. Он родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года в усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. Дворянский род Тютчевых

упоминается с XIV века. Дед поэта, секунд-майор Николай Тютчев, был любовником кровавой Дарьи Салтыковой; брошенная Салтычиха затем покушалась на его убийство, но неудачно (и, кажется, это самая яркая страница в истории рода вплоть до XIX века). Иван Николаевич Тютчев, надворный советник, смотритель экспедиции кремлевского строения, постепенно разоряющийся брянский помещик, был мало чем примечателен. Жена его Екатерина Львовна происходила из нетитулованной ветви рода Толстых. Федор был вторым из троих выживших детей в этой семье.

Уже в детстве Федор Тютчев проявил яркие литературные способности. По счастью, его домашним учителем был Семен Егорович Раич, небольшой поэт, но выдающийся литературный педагог. Впоследствии Тютчев входил в «кружок Раича», состоявший из его прежних воспитанников; в их числе были поэты Степан Шевырев, Дмитрий Ознобишин, Михаил Дмитриев, прозаик князь В.Ф. Одоевский, историк М.П. Погодин и другие. Освоив под руководством Раича древние и новые языки, получив основатель-

ную филологическую подготовку, Тютчев уже в 12-13 лет успешно переводил Горация и писал звучные стихи в традициях XVIII столетия. В пятнадцатилетнем возрасте он стал членом Общества любителей российской словесности. Одновременно он учился в Московском университете, диплом которого получил в 1821 году, неполных восемнадцати лет. Год спустя он поступил на дипломатическую службу и вплоть до 1844 года жил преимущественно в Германии и Италии, бывая в России лишь наездами.

Дипломатическая карьера Тютчева не была особенно успешной и оборвалась в 1839 году из-за оплошности: Федор Иванович, исполнявший обязанности консула в Турине, без предупреждения уехал оттуда по своим делам, да еще потерял дипломатические шифры. Этому предшествовали скандалы, связанные с его личной жизнью. В 1825 году Тютчев по страстной любви женился на вдове другого русского дипломата Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер. Но уже в 1833 году начался его роман с баронессой Эрнестиной фон Дёнберг. Метания между двумя женщинами привели

в 1836 году к попытке самоубийства Элеоноры, получившей огласку. Два года спустя жена поэта (вместе с тремя детьми) чудом спаслась при пожаре на пароходе — но вскоре умерла от болезни. Тютчев в ночь ее смерти поседел — что не помешало ему менее чем через год жениться на Эрнестине. В счастливом браке с ней Тютчев жил до самой кончины, при этом имея параллельные семьи — сперва с Гортензией Лапп, затем (в 1850—1864) с Еленой Денисьевой. Ото всех этих женщин у Тютчева было одиннадцать детей, большинство из которых дожили до взрослого возраста. Эта бурная любовная жизнь — кажется, самое яркое, что было в человеческой, житейской биографии Тютчева.

Несмотря на блестящее начало, гений Тютчева дальше развивался небыстро. В поисках собственного голоса проходили годы. В первые годы жизни в Германии он дружески сблизился с восходящей звездой немецкой поэзии — Генрихом Гейне, и первым переводил его стихи на русский. Но индивидуальности поэтов были слишком далеки; да едва ли и сам Гейне, неоднократно с симпатией упоминавший о Тютчеве

как об остроумном и благожелательном собеседнике, даже отдаленно осознавал, что перед ним — великий русский поэт.

Впрочем, великим поэтом Тютчеву еще только предстояло стать. 1825 годом датируется первое по-настоящему «тютчевское» по теме и тону, хотя еще неровное стихотворение — «Проблеск». Год спустя появляется не опубликованное при жизни, а позднее знаменитое «14 декабря 1825». В нем впервые появляется излюбленная тютчевская форма — два восьмистишия, содержащие тезу или антитезу, или тему и ее развитие. Позиция поэта сложна и полна противоречий: в первой строфе он сурово осуждает мятежников, во второй — демонстрирует нечто большее, чем просто «милость к падшим»:

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула,
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

Можно считать это стихотворение первым образчиком политической лирики Тютчева — и самым удачным. К 1830-м годам в сознании Тютчева сложилась концепция панславизма, при — званного противостоять пангерманизму, но зеркально с него скопированного. Всеславянская империя во главе с русским царем призвана была сопротивляться не только германскому порабощению, но и губительной революционной стихии. О масштабах геополитических фантазий Тютчева и об их адекватности дают представление следующие строки:

Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам их судьбы обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Хотя в 1840-е годы Тютчев по поручению властей написал на французском языке ряд пу-

ближистических статей, оправдывающих российскую политику («Письмо к доктору Кольбу», «Россия и революция», «Папство и римский вопрос»), его лунатический империализм был временами чрезмерен даже для Николая I, и поэта-мечтателя мягко одергивали. Но, главное, этот комплекс идей оказался бесплоден для тютчевской поэзии. Лишь считанные стихотворения, непосредственно вдохновленные политическими переживаниями, вошли в его «золотой фонд». Кроме «На 14 декабря 1825» это, к примеру, «Как дочь родную на закланье...» (1831) — стихи на подавление польского восстания, в которых об унижении и гибели «орла одноплеменного» говорится в трагическом тоне, хотя оно и оправдывается «высшим призыванием» России. Но такая сложность мысли и чувства в политической поэзии Тютчева — исключение.

Тем не менее вовлеченность в политическую борьбу эпохи сказалась в обостренном и взволнованном восприятии Тютчевым истории как таковой. Без этого взгляда в русской поэзии не было бы бессмертных строк:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Чтобы закончить с этой темой, заметим еще, что вера в духовное призвание России и ее геополитическое величие сочеталась у Тютчева с отстраненным и безразличным отношением к русской жизни в ее житейской конкретности. Он вольготнее чувствовал себя за границей, и «бедные селенья», которые «царь небесный исходил, благословляя», умиляли его лишь из окна экипажа или вагона — а чаще угнетали или пугали:

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то забытии изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.

Трудно представить себе, чтобы поэтическое воображение Тютчева заняла, как у Лермонтова, «пляска с топаньем и свистом под говор пьяных мужиков». Но величие его в ином.

Уже в 1828—1830 годы Тютчев переживает первый и удивительный взлет дарования. Второстепенный поэт «из ряда» внезапно становится гением. В эти годы пишутся «Весенняя гроза», «Летний вечер», «Снежные горы», «Бессонница», «Безумие», «Sillantium!», «Mala'aria», «Цицерон», «Осенний вечер», «Как над горячею золой...», «Как океан объемлет шар земной...», «Последний катаклизм» — и это далеко не полный список шедевров. Формируется поэтика Тютчева — не на ровном месте, конечно. Духовная база тютчевской лирики — немецкая романтическая философия, в особенности идеи Ф. Шеллинга. Природа для него — цельное и одухотворенное космическое начало. Источник трагизма — разрыв человека с этой цельностью, его (говоря языком XX века) экзистенциальное одиночество, несовершенство языка и невозможность глубинного контакта между людьми. Русской поэзией весь этот круг тем еще не был освоен и пережит — по крайней мере, с такой интенсивностью. Для Пушкина, погруженного в тайны конкретного, посястороннего, разворачивающегося в про-

странстве и времени бытия, эти темы были чужды или по меньшей мере периферийны. Баратынский лишь приближался к их освоению, его великие «Сумерки» были впереди. Правда, были молодые поэты, интересовавшиеся философией своего времени и пытавшиеся сделать ее предметом поэтического осмысления. Это были члены Общества любомудрия, сотрудники «Московского вестника» — прежде всего Дмитрий Веневитинов и уже упоминавшийся Шевырев; но первый очень рано умер, второй вскоре почти оставил поэзию ради филологической науки.

Новые темы требовали собственного языка. Язык элегии и баллады, разработанный Жуковским и его последователями, не годился. Пушкинская «гармоническая точность» тоже не вполне удовлетворяла. Правда, в 1820-е годы была и школа, стремившаяся к возрождению (в новом контексте) высокой одической традиции XVIII века и ее «архаического» языка, и один из ее идеологов, Вильгельм Кюхельбекер, был близок к любомудрам. Тютчев тоже не чуждается архаизмов и славянизмов; они пара-

доксальным образом помогают ему выразить совершенно новые, почти «модернистские» чувства и мысли:

Как ведать, может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса,
Предвестники для нас последнего часа
И усладители последней нашей муки —
И ими-то Судеб посланник роковой,
Когда сынов Земли из жизни вызывает,
Как тканью легкою свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!..

Как для одописца в момент «восторга», время для Тютчева останавливается. В отличие от своих великих современников — Пушкина, Лермонтова, Баратынского — он вступает с бытием в сложные, напряженные, конфликтные отношения, которые могут разрешиться только здесь и сейчас, в конкретное, неповторимое мгновение. Поэтому сам интонационный строй его лирики иной. Ю.Н. Тынянов рассматривает тот тип стихотворения, который создал Тютчев, как плод разложения большой одической формы, как «фрагмент оды». Но этот фрагмент всегда имеет начало, кульминацию и завершение;

в нем очень часто слышно несколько спорящих друг с другом голосов.

Другой литературовед, Л. В. Пумпянский, отмечает бесконечное варьирование у Тютчева одних и тех же образов и мотивов, которые каждый раз по-новому озвучиваются и осмысливаются. «Нет у Тютчева ни одного высказывания, быть может, даже ни одного значащего стиха, который не был бы окружен родственной атмосферой других высказываний и стихов, принадлежащих к тому же тематическому гнезду».

В еще большей степени все эти черты поэтики проявились в стихах Тютчева 1830-х годов. Именно в этот период Тютчев охотнее всего прибегает к форме 16-строчного стихотворения, состоящего из двух восьмистиший. Его влечение к «древнему Хаосу» и одновременно страх перед ним, желание «слиться с беспредельным», взломать границы своего я — все это достигает крайней степени:

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальный гул...

Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Всё залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Тютчевский гений был в полном расцвете. Но он совершенно не был известен и оценен как поэт и даже не пытался изменить это. То ли по велению души, то ли из гордости он избрал позицию «дилетанта», равнодушного к судьбе своих творений и не претендующего на место в «цехе задорном» литераторов. Стихи Тютчева публиковались редко и в изданиях второстепенных (главным образом, в альманахах «Галатее» и «Денница»), часто под инициалами. Критика и коллеги просто не замечали этих публикаций. Вот знаменитый пример. Молодой критик

И.В. Киреевский в статье «Обозрение русской поэзии на 1829 год» («Денница», 1830) говорит о Тютчеве как об одном из «поэтов немецкой школы» — наряду с Шевыревым и Алексеем Хомяковым. Но имя Тютчева, который «в прошлом году напечатал только одно стихотворение», лишь упомянуто, а Шевыреву и Хомякову дана подробная характеристика. Пушкин, сочувственно отзываясь на статью Киреевского («Литературная газета», 05.02. 1830), пишет: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим». Тынянов полагает, что Пушкин сознательно отвергает и принижает поэтику Тютчева, как противоположную его собственной. Но гораздо вероятнее, что стихи молодого автора просто не привлекли к тому времени его внимания. Шесть лет спустя, в 1836 году, Пушкин в два приема, в двух номерах, публикует в «Современнике» 22 стихотворения Тютчева под общим названием «Стихотворения, присланные из Германии». К Пушкину стихи Тютчева попали через молодого дипломата И.С. Гагарина,

который сперва показал их Жуковскому и Вяземскому — а уже они передали их Пушкину. В любом случае публикация такого объема была знаком признания. Пушкин мог видеть в Тютчеве не близкого себе поэта — но несомненно видел поэта большого. Сам же Тютчев отзывался о Пушкине с восхищением и посвятил его памяти знаменитые строки:

Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.

Есть, правда, и анекдот о том, что Тютчев приехавший в 1837 году ненадолго в Россию и ждавший разрешения на возвращение в Германию, на сообщение о том, что Дантес за убийство Пушкина выслан из России, мрачно пошутил: «Пойду Жуковского убью».

Тютчев вернулся в Россию в 1844 году. Вскоре он получил службу в Комитете иностранной

цензуры при Министерстве иностранных дел. В этом управлении, которое контролировало допуск в Россию иностранных книг, он прослужил до самой смерти. С 1858 года он возглавлял Комитет, в чине действительного статского, а с 1865-го — тайного советника (что соответствовало генерал-лейтенанту). Из русских поэтов первого ряда более высокий чин был лишь у Державина. В Комитете под началом Тютчева служили и другие поэты — Аполлон Майков и Яков Полонский. Сам Тютчев впоследствии охарактеризовал их работу так:

Веленью высшему покорны,
У мысли стоя на часах,
Не очень были мы задорны,
Хотя и с штуцером в руках.

Мы им владели неохотно,
Грозили редко и скорей
Не арестантский, а почетный
Держали караул при ней.

Тем не менее и под тютчевским началом каждый год цензура запрещала до 150 книг (втрое меньше, правда, чем при Николае I). Это

были не только революционные сочинения, но и книги, неканонически трактующие те или иные эпизоды русской истории, философские и богословские книги, «враждебные православию», эротические сочинения и проч.

Тютчев не отказывался (несмотря на разочарования Крымской войны) от своих панславистских утопий; во внутриполитических вопросах он оставался «просвещенным консерваторм» и (теоретическим) националистом. В любом случае, современники запомнили его остроумным салонным собеседником, а не мрачным фанатиком. Кем он, однако, не хотел считаться и казаться — это литератором.

В первые годы после «Стихотворений, присланных из Германии» Тютчев становится постоянным автором «Современника». Но после 1840 года он перестает печататься и до 1848-го почти не пишет стихов. Естественно, он был забыт. Однако в первом номере «Современника» за 1850 год была помещена статья нового редактора журнала Николая Некрасова. Вся вторая половина статьи была посвящена загадочному Ф.Т. и его былым публикациям

в журнале — при Пушкине и сменившем его в качестве редактора П. А. Плетневе. Некрасов объявил Ф.Т. поэтом, сопоставимым с Пушкиным и Лермонтовым, и перепечатал в составе статьи 24 его стихотворения. Так Тютчев был снова «открыт», вновь — другим великим поэтом, причем таким, чья индивидуальность была уж совсем полной противоположностью его собственной. После этого стихи Тютчева вновь стали публиковаться, а в 1854 году вышла его первая книга, составленная И. С. Тургеневым — с, увы, «исправленными» текстами — ми. Прежде всего Тургенев выправлял отклонения от канонических силлабо-тонических размеров, которые для Тютчева всегда были характерны и придавали его стихам особую остроту:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

В книге 1854 года четвертая строка читалась: «И встанут. и зайдут оне».

Вторая прижизненная книга Тютчева была напечатана под присмотром его зятя, известного публициста-славянофила И.С. Аксакова, в 1868 году. Двадцать лет спустя еще один великий поэт, Афанасий Фет, пишет стихотворение «На книжке стихотворений Тютчева»:

Вот наш патент на благородство, —
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет...

Сам Тютчев, однако, издание этих книг не особенно одобрял — и всячески демонстрировал равнодушие к судьбе своих стихов.

Поздний Тютчев — поэт не менее великий, чем ранний; но это несколько иной поэт. Сразу же бросается в глаза изменение интонации. Голос больше не напрягается, он становится мягче, расслабленней. Внимание Тютчева по-прежнему приковано к «мгновенному», его стихи редко разворачиваются во времени, но

это мгновение переживается не экстатически. Связи с одой XVIII века гораздо слабее, архаические обороты встречаются, но реже. Тютчев остается метафизиком и визионером, но ему теперь гораздо важнее, чем прежде, человеческое, земное измерение вещей и явлений.

Сравним два стихотворения, в которых Тютчев развивает схожую лирическую мысль (это одно из тех «повторений», о которых говорит Пумпянский). Первое — «День и ночь» (1839). Вот его завершение:

...Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и, с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!

Ночь открывает человеку неприятную, несоизмеренную человеку, пугающую правду, «бездну». Теперь посмотрим, как Тютчев говорит об этом десять лет спустя:

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой покров, она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастью темной.

На самого себя покинут он —
Упразднен ум, и мысль осиротела —
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь всё светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье родовое.

Прежде Тютчев не говорил так подробно и так спокойно о человеческих переживаниях, как будто отделив их от своей личности. Впрочем, в других стихах 1850—1860-х годов Тютчев, наоборот, глубоко личностен — это относится прежде всего к его любовной лирике, которую он в эти годы пишет больше, чем когда-либо прежде. В основном это стихи, посвященные

Елене Денисьевой. Упоение «последней любовью» сочетается в этих стихах с мотивами вины и раскаяния. В житейском плане Тютчеву было в чем каяться: он обрек молодую женщину на бесправную и унижительную участь содержанки. В чисто поэтическом смысле он здесь вторгается в новую для себя область; он пишет о том, о чем мог бы писать, к примеру, тот же Некрасов — но пишет по-своему, с тютчевской эмоциональной сосредоточенностью и строгостью:

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!..

...И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль злую, боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

В некоторых стихотворениях «денисьевского цикла» поэт приходит к еще большей, невозможной для себя прежде простоте и прямоте — не в ущерб ни глубине, ни лирической сосредоточенности:

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала —
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала —

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела —
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

Одновременно Тютчев посвящает не менее эмоциональные стихи жене, Эрнестине Федоровне (как ее звали в России). Впрочем, русского языка она толком не выучила и оценить их едва ли могла (специально для нее Тютчев написал несколько стихотворений по-французски). Что касается Денисьевой, то сам же Федор Иванович после ее смерти писал: «Она, при всей своей высоко поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих — ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней — выражалась гласно и во всеуслышанье. Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она для меня — в этом заключалось ее высшее — не то что

наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее...»

Смерть Денисьевой от туберкулеза в 1864 году (за которой в 1865 году последовала смерть двух ее и Тютчева детей) стала для Тютчева трагедией. По свидетельству друзей, он находился в тяжелейшей депрессии, беспрестанно рыдал. Об этом свидетельствуют и его письма. Вот лишь несколько цитат:

«Только при ней и для ней я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я признавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество... Тот только в состоянии оценить мое положение, кому — из тысяч одному — выпала страшная доля — жить четырнадцать лет сряду — ежечасно, ежеминутно — такою любовью, как ее любовь, — и *пережить* ее...»

«Еще при *ее* жизни, — когда мне случалось *при ней*, на глазах у нее, живо вспомнить о чем-нибудь из нашего прошедшего, нашего общего прошедшего, — я помню, какую страшную тоскою обдавалась тогда вся душа моя — и я тогда же, помнится, говорил ей: «Боже мой, ведь мо-

жет же случиться, что все эти воспоминания — все это, что и теперь уже и теперь так страшно, придется одному из нас — повторять одинокому — переживши другого». Но эта мысль пронизывала душу — и тотчас же исчезала. А теперь?»

Но горе привело к мощному взлету поэтического дара Тютчева — последнему по времени. Непосредственно на смерть Денисьевой написано восемь стихотворений. Два из них особенно знамениты. Первое датируется 21 ноября 1864 года. О постигшем поэта несчастье говорится здесь глухо; главное — это непосредственное, мгновенное чувство, и оно передается с той остротой, которая была присуща Тютчеву в молодости:

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может..
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья..

Второе стихотворение, написанное в годовщину смерти Денисьевой, трудно сравнить с чем-либо по простоте, прямоте, мучительной обнаженности чувства — и в то же время по точности и благородству:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Всё темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?..

Среди шедевров 1865 года — «Певучесть есть в морских волнах...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Ночное небо так угрюмо...». Можно сказать, что в этих стихотворениях соединилось все главное и лучшее, что было в поэзии Тютчева во все периоды.

Так или иначе, жизнь продолжалась. Последнего выжившего ребенка Тютчева и Денисьевой, Федора, взяли на воспитание дочь Тютчева А.Ф. Аксакова (бывшая фрейлина, ав-

тор мемуаров) и ее муж, уже упоминавшийся И.С. Аксаков. Позднее он стал офицером и малоизвестным писателем. Другой сын Тютчева, Иван, был в 1907—1909 годы членом Государственного Совета.

В последние годы жизни Тютчев написал гораздо больше стихотворных опусов политического содержания, чем «настоящих» стихотворений. Но в 1869 году с его пера сходит знаменитое четверостишие:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Это удивительный скептический итог тех философских размышлений, которые преследовали поэта всю жизнь — выраженный с афористической четкостью. Два года спустя этот итог формулируется несколько иначе:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезой природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

В этих прекрасных строках чувствуется старческая умудренность... и усталость. Поэту в самом деле оставалось немного. 15 (27) июля 1873 года Тютчев скончался от последствий инсульта. Последние мысли и последние слова его связаны были, увы, не с искусством, а со все той же имперской политикой.

Если поэты-современники (от Некрасова до Фета) прекрасно знали Тютчеву цену, то в широком кругу литераторов и тем более среди публики его поэзия долго не встречала понимания. Так, в «Истории новейшей русской литературы» (1890) А.Н. Скабичевского Тютчеву уделено меньше места, чем А.К. Толстому и даже Плещееву, и характеристика, данная ему, весьма сдержанна и даже кисловата. Но постепенно положение менялось. Многие важные стихи Тютчева были напечатаны лишь посмертно. В конце XIX века символисты подняли его на щит, объявив одним из своих предшественни-

ков. Вся русская модернистская поэзия немислима без осмысления тютчевского наследия.

Интересно, что и отношение советской власти к наследию Тютчева было благожелательным, так как он входил в число любимых поэтов Ленина. В усадьбе Мураново (которая в свое время принадлежала Баратынскому, а потомки Тютчева поселились в ней уже после смерти поэта) был создан посвященный Тютчеву мемориальный музей; им заведовали внук поэта Тютчева Н.И. Тютчев, а потом его правнук К.В. Пигарев. Стихи Тютчева систематически переиздавались.

Но все эти казенные знаки признания, с одной стороны, не сделали поэзию Тютчева пресной и «хрестоматийной», с другой — не приблизили ее к массовому читателю. Один из пяти или десяти (это уж кто как считает) величайших поэтов, когда-либо писавших по-русски, он остается немного таинственным, не до конца разгаданным, неудобным. За то мы его и любим.

Валерий Шубинский

БЛАЖЕН, КТО ПОСЕТИЛ
СЕЙ МИР

К ОДЕ ПУШКИНА НА ВОЛЬНОСТЬ

Огнем свободы пламеня
И заглушая звук цепей,
Проснулся в лире дух Алцея —
И рабства пыль слетела с ней.
От лиры искры побежали
И вседробящею струей,
Как пламень Божий, ниспадали
На чела бледные царей.

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О муз питомец, награжден!

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!

Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Под царскою парчою
Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца!

Ноябрь (?) 1820

Москва

С ЧУЖОЙ СТОРОНЫ

(Из Гейне)

На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму все снится ему,
Что в дальних пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветет, одинока...

Не ранее апреля 1823-1824

Мюнхен

В АЛЬБОМ ДРУЗЬЯМ

(Из Байрона)

Как медлит путника вниманье
На хладных камнях гробовых,
Так привлечет друзей моих
Руки знакомой начертанье!..

Чрез много, много лет оно
Напомнит им о прежнем друге:
«Его уж нету в нашем круге;
Но сердце здесь погребено!..»

Не позднее середины 1826

ПЕСНЯ

(Из Шекспира)

Заревел голодный лев,
И на месяц волк завыл;
День с трудом преодолев,
Бедный пахарь опочил.

Угли гаснут на костре,
Дико филин прокричал
И больному на одре
Скорый саван провещал.

Все кладбища, сей порой,
Из зияющих гробов,
В сумрак месяца сырой
Высылают мертвецов!..

Конец 20-х, начало 30-х гг.

ДРУЗЬЯМ ПРИ ПОСЫЛКЕ
«ПЕСНИ РАДОСТИ»

(Из Шиллера)

Что пел божественный, друзья,
В порыве пламенном свободы
И в полном чувстве Бытия,
Когда на пиршество Природы
Певец, любимый сын ея,
Сзывал в единый круг народы;
И с восхищенною душой,
Во взорах — луч животворящий,
Из чаши Гения кипящей
Он пил за здоровье людей;

И мне ли петь сей гимн веселый,
От близких сердцу вдалеке,
В неразделяемой тоске, —
Мне ль Радость петь на лире онемелой?
Веселье в ней не сыщет звука,
Его игривая струна
Слезами скорби смочена, —
И порвала ее Разлука!

Но вам, друзья, знакомо вдохновенье!
На краткий миг в сердечном упоенье
Я жребий свой невольно забывал
(Минутное, но сладкое забвенье!),
К протекшему душою улетал
И Радость пел — пока о вас мечтал.

Между февралем 1823 и серединой 1826

ПРОТИВНИКАМ ВИНА

Яко и вино веселит сердце человека

О, суд людей неправый,
Что пьянствовать грешно!
Велит рассудок здравый
Любить и пить вино.

Проклятие и горе
На спорщиков главу!
Я помощь в важном споре
Святую призову.

Наш прадед, обольщенный
Женою и змием,
Плод скушал запрещенный
И прогнан поделом.

Ну как не согласиться,
Что дед был виноват:
Чем яблоком прельститься,
Имея виноград?

Но честь и слава Ною, —
Он вел себя умно,
Рассорился с водою
И взялся за вино.

Ни ссоры, ни упрёку
Не нажил за бокал.
И часто гроздий соку
В него он подливал.

Благие покушенья
Сам бог благословил —
И в знак благоволенья
Завет с ним заключил.

Вдруг с кубком не слубился
Один из сыновей.
О, изверг! Ной вступился,
И в ад попал злодей.

Так станемте ж запоем
Из набожности пить,
Чтоб в божье вместе с Ноем
Святилище вступить.

Начало 1820-х гг.

К Н.

Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог — увы! — умилоствить их —
Он служит им укором безмолвной.

Сии сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет.

Но для меня сей взор благоденье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.

Таков горе духов блаженных свет,
Лишь в небесах сияет он, небесный;
В ночи греха, на дне ужасной бездны,
Сей чистый огонь, как пламень адский, жжет.

23 ноября 1824

ПРОБЛЕСК

Слышал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..

То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг...
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшись, потух!

Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, по небесах!

О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живую,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!

Но ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, —
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.

Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон,
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, —

И отягченной главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны.

Не позднее осени 1825